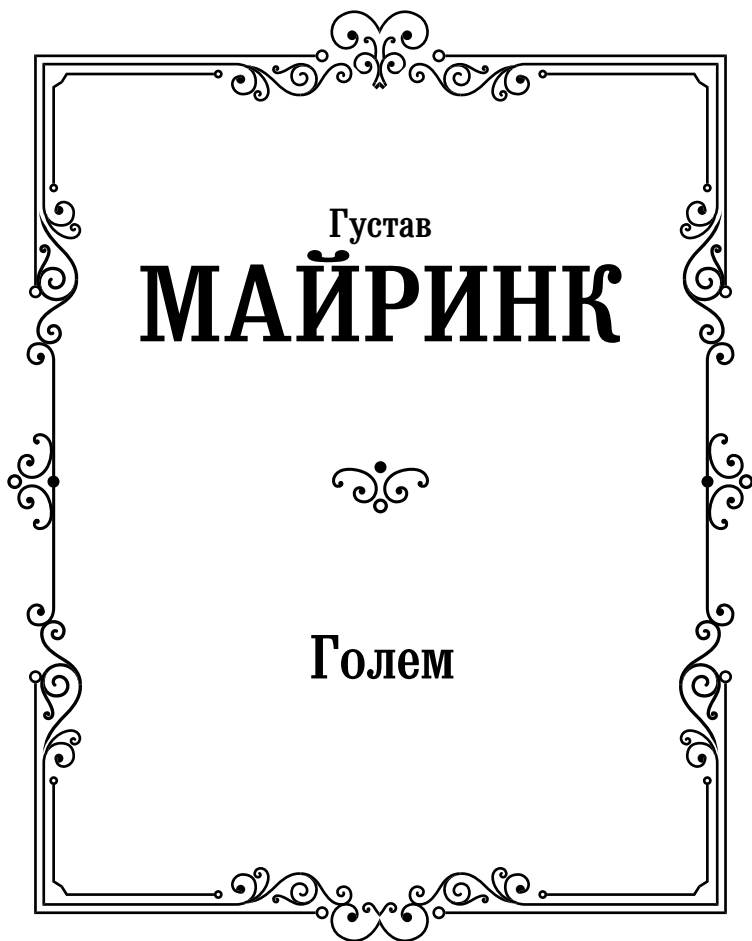




Густав

**МАЙРИНК**





Густав  
**МАЙРИНК**



**Голем**



Издательство АСТ  
Москва

## *1. Сон*

Лунный свет падает на край моей постели и лежит там большую сияющею плоскою плитою.

Когда лик полной луны начинает ущербляться и правая его сторона идет на убыль — точно лицо, приближающееся к старости, сперва покрывается морщинами и начинает худеть, — в такие часы мной овладевает тяжелое и мучительное беспокойство.

Я не сплю и не бодрствую, и в полусне в моем сознании смешивается пережитое с прочитанным и слышанным, словно стекаются струи разной окраски и ясности.

Перед сном я читал о жизни Будды Готамы, и теперь на тысячу ладов проносятся в моем сознании, постоянно возвращаясь к началу, следующие слова:

«Ворона слетела к камню, который походил на кусок сала, и думала: здесь что-то вкусное. Но не найдя ничего вкусного, она отлетела прочь. Подобно вороне, спустившейся к камню, покидаем мы — ищущие — аскета Готаму, потеряв вкус к нему».

И образ камня, походившего на кусок сала, вырастает в моем мозгу неимоверно.

Я ступаю по руслу высохшей реки и собираю гладкие камешки.

Серо-синие камни с выкрапленной поблескивающей пылью, над которыми я размышляю и размышляю и все-таки не знаю, что с ними предпринять, — затем черные,

с желтыми, как сера, пятнами, как окаменевшие попытки ребенка вылепить грубую пятнистую ящерицу.

И мне хочется отбросить их далеко от себя, эти камешки, но они выпадают все у меня из рук, из поля зрения моего не могу их прогнать.

Все камни, которые когда-либо играли роль в моей жизни, встают и обступают меня.

Одни, как крупные, аспидного цвета крабы, перед возвращающимся приливом, напрягая силы, стараются выкарабкаться из песка на свет, всячески стремятся обратить на себя мой взор, чтобы поведать мне о чем-то бесконечно важном.

Другие, истощенные, бессильно падают назад, в свои ямы, и отказываются когда-либо что-нибудь сказать.

Время от времени я выхожу из сумерек этого полусна и на мгновение вижу снова на выпученном краю моего одеяла лунный свет, лежащий большою сияющей плоскою плитою, чтобы затем в закоулках вновь ускользящего сознания беспокойно искать мучающий меня камень, что где-то, в отбросах моего воспоминания, лежит, похожий на кусок сала.

Возле него на земле, вероятно, когда-то помещалась водосточная труба — рисую я себе, — загнутая под тупым углом, с краями, изъеденными ржавчиной, и упорно я стараюсь разбудить в своем сознании такой образ, который обманул бы мои вспугнутые мысли и убаюкал бы их.

Это мне не удастся.

Все снова и снова, с бессмысленным упорством, неутомимо, как ставень, которым ветер через равные промежутки времени бьет в стену, твердит во мне упрямый голос: это совсем не то, это вовсе не тот камень, который похож на кусок сала.

От этого голоса не отделаться.

Хоть бы сто раз я доказывал себе, что это совершенно не важно, он умолкает на одно мгновенье, потом опять

незаметно просыпается и настойчиво начинает сызнавать: хорошо, хорошо, пусть так, но это все же не камень, похожий на кусок сала.

Постепенно мною овладевает невыносимое чувство полной беспомощности.

Что дальше произошло, не знаю. Добровольно ли я отказался от всякого сопротивления, или они — мои мысли — меня одолели и покорили.

Знаю только, что мое тело лежит спящим в постели, а мое сознание отделилось от него и больше с ним не связано.

«Кто же теперь мое “Я”?» — хочется вдруг спросить, но тут я соображаю, что у меня нет больше органа, посредством которого я мог бы вопрошать, и я начинаю бояться, что глупый голос снова проснется во мне и снова начнет бесконечный допрос о камне и салае.

И я отмахиваюсь от всего.

## II. День

Я стоял в темном дворе и сквозь красную арку ворот видел на противоположной стороне узкой и грязной улицы старьевщика-еврея, прислонившегося к лавчонке, увешанной старым железным хламом, сломанными инструментами, ржавыми стременами и коньками, равно как и множеством других отслуживших вещей.

Эта картина заключала в себе мучительное однообразие ежедневных впечатлений, врывающихся, как уличные торговцы, через порог нашего восприятия, и не возбуждала во мне ни любопытства, ни удивления.

Я сознавал, что в этой обстановке я уже давно дома.

Но и это сознание не возбудило во мне глубоких чувств, хотя шло вразрез с тем, что я так недавно пережил, и с тем, каким образом я дошел до настоящего состояния.

Я, должно быть, когда-то слышал или читал странное сравнение камня с кусочком сала. Оно пришло мне на ум в то время, как я поднимался к себе в комнату по истоптанным ступенькам и мельком подумал о засаленном и каменном пороге.

Тут я услышал впереди себя чьи-то шаги, и когда я подошел к своей двери, увидел, что это была четырнадцатилетняя рыжая Розина, дочь старьевщика Аарона Вассертрума.

Я должен был вплотную протесниться около нее; она стояла спиной к перилам, похотливо откинувшись назад.

Она положила свои грязные руки на железные перила, чтоб держаться, и в тусклом полумраке я заметил ее светящиеся обнаженные руки.

Я уклонился от ее взгляда.

Мне противна была ее навязчивая улыбка и это восковое лицо карусельной лошадки.

У нее, должно быть, рыхлое белое тело, как у тритона, которого я недавно видел в клетке с ящерицами у одного продавца птиц, — так почувствовал я.

Ресницы рыжих противны мне, как кроличьи.

Я взбежал и быстро захлопнул за собою дверь.

Из своего окна я мог наблюдать старьевщика Аарона Вассертрума у его лотка.

Он стоял, прислонившись к выступу темной арки, и стриг себе ногти.

Дочь или племянница ему рыжая Розина? У него никакого сходства с ней.

Среди еврейских лиц, которые ежедневно попадают мне на Петушьей улице, я ясно различаю несколько пород; несмотря на близкое родство отдельных индивидуумов, их так же трудно смешать между собой, как масло с водой. Здесь не приходится говорить: это — братья, или это — отец и сын.

Этот принадлежит к одной породе, тот — к другой, — вот все, что можно прочесть на лицах.

Что же из того, если бы Розина и была похожа на старьевщика.

Эти породы питают друг к другу тайное отвращение и неприязнь, прорывающиеся даже сквозь стены узкого кровного родства, но они скрывают это от внешнего мира, как опасную тайну.

Ни один не выдает себя, и в этом единоклюбии все похоже на озлобленных слепцов, что бредут, держась за грязную веревку — кто обеими руками, кто одним пальцем, но все с суеверным ужасом перед бездной, в которую каждый должен упасть, как только исчезнет общая поддержка и люди потеряют друг друга.

Розина — из той породы, рыжий тип которой еще отвратительнее других. Принадлежащие к этой породе мужчины узкогруды, с длинной шеей и выступающим кадыком.

Они кажутся целиком покрытыми веснушками, они несут всю жизнь тяжелые муки — эти мужчины — и тайно ведут непрерывную и безрезультатную борьбу со своей похотью, в постоянном отвратительном страхе за свое здоровье.

Мне было неясно, почему, собственно, я подумал, что Розина родственница старьевщика Вассертрума.

Ведь никогда же я не видел ее рядом со стариком, никогда не замечал, чтоб один из них окликнул другого.

Почти всегда она была на нашем дворе или же пробиралась по темным уголкам и проходам нашего дома.

Я уверен, что все жильцы моего дома считали ее близкой родственницей или, по меньшей мере, воспитанницей старьевщика, и тем не менее я не сомневаюсь, что ни один из них не привел бы оснований для своего предположения.

Я хотел отвлечь мысли от Розины и взглянул в раскрытое окно комнаты на Петушью улицу, и вдруг, точно по-



чувствовав мой взгляд, Аарон Вассертрум повернул лицо в мою сторону.

Отвратительное неподвижное лицо, с круглыми рыбьими глазами и с отвислой заячьей губой.

Он показался мне пауком среди людей, тонко чувствующим всякое прикосновение к паутине, при всей своей кажущейся безучастности.

Чем он живет? Что думает, чем занимается?

Я не знал.

На каменных выступах его лавчонки изо дня в день, из года в год висят все те же мертвые, бесполезные вещи.

Я мог бы их представить себе даже с закрытыми глазами: тут согнувшаяся жестяная труба без клапанов, тут пожелтевшая картинка со странно расположенными солдатами, там связка заржавевших шпор на потертом кожаном ремешке и всякий прочий полуистлевший хлам.

А спереди земля так густо уставлена рядом железных сковород, что невозможно переступить через порог лавчонки.

Эти вещи не убывали и не возрастали в числе. Если какой-нибудь прохожий все же останавливался и осведомлялся о цене того или иного предмета, старьевщик впадал в жесточайшее возбуждение.

Он ужасно выпячивал тогда свою заячью губу, лепетал что-то невразумительное своим клокочущим прерывистым басом, так что у покупателя отбивало всякую охоту спрашивать дальше, и, испуганный, он проходил мимо.

Взгляд Аарона Вассертрума с быстротой молнии отпрянул от меня и с напряженным интересом остановился на голой стене соседнего с моим окном дома.

Что он мог там увидеть?

Дом стоит спиной к Петушьей улице, и окна его выходят во двор. Только одно на улицу.

Случайно в этот момент в квартиру, расположенную рядом с моей, в том же этаже — по-видимому, это угло-

вое ателье, — вошли люди: через стену я вдруг услышал голоса — мужской и женский.

Но не может быть, чтобы старьевщик заметил это снизу.

У моей двери показался кто-то, и я догадался, что это все еще Розина, которая стоит в темноте, в похотливом ожидании, что, может быть, я ее все-таки позову.

Внизу же, на пол-этажа ниже, на ступеньках, прыщеватый, полувзрослый Лойза, затаив дыхание, караулит, не открою ли я дверь, и я буквально чувствую дыхание его ненависти и его бурлящую ревность.

Он боится подойти ближе, чтоб Розина не заметила его. Он знает, что зависит от нее, как голодный волк от своего сторожа. Но как охотно он вскочил бы и в беспмятстве дал бы выход своей ярости!

Я присел к письменному столу и взялся за свои клещи и резцы.

Но я ничего не мог сделать, моя рука не была достаточно спокойна, чтоб исправить тонкую японскую резьбу.

Темная, мрачная жизнь, которая висит над этим домом, не дает мне покою, и все время встают во мне старые картины.

Лойза и его брат — близнец Яромир — вряд ли старше Розины, разве на один год.

Их отца, который был просвирником, я с трудом припоминаю; теперь заботится о них, кажется, какая-то старуха.

Я только не знаю, какая именно из множества старух, живущих здесь, как кроты, в своих норах.

Она опекает обоих мальчиков — это значит: она дает им приют, за что те отдают ей все, что им удастся украсть или выпросить.

Кормит ли она их? Не думаю, потому что старуха приходит домой поздно вечером.

Она, должно быть, убирает покойников.

Лойзу, Яромира и Розину я видывал часто, когда они еще детьми беспечно играли на дворе.

Но это время давно уже прошло.

По целым дням теперь Лойза увивается за рыжеволосой девочкой.

Иногда он подолгу тщетно ищет ее и, нигде не находя, прокрадывается к моей двери и с искаженным лицом ждет, не придет ли она сюда тайком.

И, сидя за работой, я вижу, как он привидением бродит по извилистым переходам и прислушивается, изгибая голову на изможденной шее.

Порою пререзывает тишину внезапный дикий шум.

Глухонемой Яромир, все думы которого наполнены страстной и неослабевающей мечтой о Розине, диким зверем блуждает по дому, и нечленораздельный воющий лай, который он издает, обезумев от ревности и подозрений, звучит так жутко, что стынет кровь в жилах.

В слепом бешенстве он рыщет, надеясь отыскать их вместе в одном из тысячи грязных закоулков. Его влечет стремление всегда следовать за братом по пятам, чтоб ничего не случилось с Розиной без его ведома.

И именно эти беспрестанные муки калеки кажутся мне обстоятельством, побуждающим Розину постоянно путаться с другим.

Как только ее склонность или податливость ослабевают, Лойза изобретает все новые гадости, чтоб снова распалить жадность Розины.

Они нарочно, как бы нечаянно, дают глухонемому застичь их, коварно заманивают безумного в темные коридоры и там из заржавевших обручей, ударяющих, если на них наступить, и из железных граблей, лежащих остриями кверху, устраивают злые ловушки, в которые тот падает и разбивается в кровь.

Время от времени Розина самостоятельно выдумывает какой-нибудь адский план, чтобы довести мучения Яромира до последней степени.

Она внезапно меняет свое отношение к нему и делает вид, что он вдруг понравился ей.

С ее постоянной улыбкой она поспешно сообщает калек такие вещи, которые приводят его почти в безумное неистовство; у нее есть для таких случаев таинственный с виду и полупонятный язык знаков; последний, неизбежно, опутывает глухонемого сетью неизвестности и гложащих надежд.

Однажды я видел, как она стояла перед ним во дворе и что-то говорила ему такими оживленными движениями губ и жестами, что, казалось, вот-вот он упадет в диком иступлении.

По лицу его струился пот от сверхчеловеческого усилия схватить смысл намеренно неясного, спешного сообщения.

Весь последующий день он в лихорадочном ожидании бродил по темным лестницам другого полуразрушенного дома, расположенного дальше по узкой и грязной Петушьей улице. Он даже упустил время выпросить на углу пару крейцеров.

И когда поздно вечером, полумертвый от голода и возбуждения, он хотел войти домой, его приемная мать давно уже закрыла дверь.

Веселый женский смех донесся ко мне через стену из соседнего ателье.

Смех. В этих домах веселый смех. Во всем гетто нет ни одного человека, который умел бы весело смеяться.

Тут я вспомнил, что рассказывал мне на днях старый хозяин марионеточного театра Цвак: молодой богатый господин снял у него это ателье за дорогую плату, очевидно, для того, чтобы без помехи встречаться с избранницей сердца.

Надо было постепенно по ночам, одну вещь за другой, перенести туда, наверх, дорогую мебель нового жильца, так, чтобы никто в доме не заметил этого.

Добродушный старик потирал руки от удовольствия, рассказывая мне об этом, и, как ребенок, радовался, что ему удалось все ловко обставить: никто из жильцов не мог иметь и представления о романтической парочке.

Проникнуть в ателье можно было из трех домов. Даже через подъемную дверь имелся проход!

Да, если поднять железную дверь чердака, а это было от туда очень легко, — можно было через мою комнату попасть на лестницу нашего дома и использовать ее как выход.

Снова доносится веселый смех, пробуждая во мне неясное воспоминание об одной роскошной квартире и об одном аристократическом семействе, куда меня часто приглашали для незначительного ремонта разных ценных старинных вещей.

Вдруг я слышу рядом пронзительный крик. Слушаю в испуге.

Железная дверь быстро поднялась, и через мгновение в мою комнату влетела дама.

С распущенными волосами, бледная, как стена, с брошенной на голые плечи золотою бродяжной материей.

— Майстер Пернат, спрячьте меня... ради бога!.. не спрашивайте, спрячьте меня.

Не успел я ответить, как дверь снова поднялась и быстро захлопнулась.

На одну секунду отвратительной маской оскалилось лицо старьевщика Аарона Вассертрума.

Круглое светлое пятно снова передо мной, и в лунных лучах я узнаю снова край моей постели.

Тяжелым, мягким покрывалом лежит еще на мне сон, и золотыми буквами в памяти моей блестит имя Пернат.

Где вычитал я это имя — Атанасиус Пернат?

Кажется мне, кажется, где-то давно-давно обменял я свою шляпу, и тогда удивляло меня, что новая шляпа была как раз по мне, хотя у меня совсем особенная форма головы.

Я заглянул в эту чужую шляпу тогда и — да, да, там на белой подкладке было написано золотыми бумажными буквами:

### АТАНАСИУС ПЕРНАТ

Я боялся, мне было жутко от этой шляпы — я не знал, почему. Забытый мною голос, с забытым вопросом, где камень, похожий на сало, летит в меня, как стрела.

Быстро рисую я себе острый, слащаво улыбающийся профиль рыжей Розины, и мне удается таким образом избежать стрелы, которая теряется тотчас в темноте.

Да, лицо Розины. Оно еще сильнее, чем глухо звучащий голос, и теперь, когда я снова буду скрыт в моей комнате по Петушьей улице, я могу быть совершенно спокоен.

### III. «I»

Если я не ошибся, что кто-то равномерным шагом подымается по лестнице, чтобы зайти ко мне, то он должен быть теперь приблизительно на последних ступенях.

Теперь он огибает угол, где находится квартира архивариуса Шемайи Гиллеля, и подходит к выступу площадки верхнего этажа, выложенной красным кирпичом.

Теперь он идет ощупью вдоль стены и в эту минуту должен с трудом в темноте разбирать мое имя на дверной доске.

Я встал посреди комнаты и смотрю на дверь.

Дверь открылась, и он вошел.

Он сделал несколько шагов по направлению ко мне, не сняв шляпы и не сказав мне ни слова приветия.